

Александр ВЕРГЕЛИС

*Александр Вергелис родился в Ленинграде в 1977 году. Публиковался как поэт, прозаик и критик в журналах «Аврора», «Волга», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов», «Крестьянин», «Сибирские огни», «Слово/Word» и других изданиях России и зарубежья. Лауреат премии журнала «Звезда» (2006), премии «Белла» (Верона, 2013), победитель конкурса имени Н.С. Гумилева (2017). Автор двух книг стихов. Живет в Санкт-Петербурге.*

ТИХИМИ, ТЯЖЕЛЫМИ ШАГАМИ...

Рассказ

...Помолчала в трубку и сказала: *его больше нет*. Что я тогда почувствовал? По бронзовой Фонтанке плыли палые листья. И так же – медленно и плавно – проплывала в голове спокойная, бесстыдно растянутая мысль: *теперь можно у нее*.

Так что я почувствовал? Ничего. Умер чужой человек, которого я никогда не видел, даже на фотографиях. Пожилой, почти старый. Судя по ее мучительному елагинскому рассказу, довольно неприятный. Перестал существовать тот, кто был лишним. Кто мешал. Стоял между нами. Являлся препятствием. Но: о мертвых... Я тоже помолчал в трубку – как мне показалось, скорбно и торжественно. Смерть, как и рождение, есть акт возвышенный, как было сказано в каком-то фильме. Я выдержал паузу, а потом сказал что-то сочувственно-ободряющее: то ли «крепись», то ли «держись». И все-таки, что я тогда почувствовал? Облегчение? Нет, не облегчение. Спазм совести? Нет. Ничего. Не было даже досады по поводу того, что в продуманный распорядок действий вклинился траурный форс-мажор, несколько отодвинувший нашу первую близость. *Теперь можно у нее...*

Да, теперь можно было не готовить себя к прохождению столь утомительной в моем возрасте эпопеи с дешевыми номерами (через «у», как говорила одна шалунья), сомнительными посуточными квартирками, столь же сомнительными саунами, грязноватыми берлогами холостых приятелей. Можно было дать отдых фантазии и не думать о прокрустовом заднем сидении моей машины, о пленэрах и всяческом уличном «экстриме» – например, каких-нибудь судорожных вертикальных соитиях в лесопарке Сосновка. В ранней молодости все это забавляет, но когда вам за сорок... Почему у нас нет «лав-отелей»? Вот, поистине, величайшее изобретение! Помню, как солидного вида седой японец в Токио заходил в уличный секс-инкубатор с молоденькой, годящейся ему в дочери лапочкой, и на милом ее личике – личике студентки-отличницы – была лишь легкая грусть, и никакого стеснения. А стесняться и не перед кем: ни видеокамер вам, ни персонала: выбираешь на дисплее свободную ячейку, платишь и получаешь ключ.

Итак, она сказала: *его больше нет*. Листья плыли по Фонтанке. Медленно и плавно. Медленно и печально... Тьфу ты, черт! Откуда, с каких пыльных антресолей памяти вывалился этот дурацкий, этот прыщавый анекдот? Это про то, как нетерпеливый любовник заявился к новоиспеченной вдове прямо накануне похорон. Любострастие в трауре, соитие в похоронном темпе: медленно и печально. Стать героем похабного анекдота – что может быть более жалким? Разумеется, надо выждать. Пусть похоронит, пусть поплачет. Ведь будет же она плакать? Помочь деньгами, конечно. А потом – можно у нее...

Я придумал, как убить вечер. Его надо было именно убить, поскольку из двух оставшихся вариантов оба не выгорали: кавалерист-девица Танечка схватила грипп, а к рыжей Маргарите раньше времени вернулся ее сезонный муж. Этот чудак ежегодно исчезал в апрелемае и возвращался только с наступлением холодов. Он каждый год увольнялся с работы и уезжал на Псковщину, где имел древнюю, от прадеда-старовера сохранившуюся избушку. И

пока я утешал покинутую им временно Марго, он наслаждался общением с дикой природой. Мужик, полагаю, догадывался о моем существовании. Но треугольная наша ситуация устраивала его не меньше, чем меня. У кого-то страсть – охота и рыбалка, а кто-то – ловец человек. Все были довольны: пышка-Марго не дичала, а я помимо прочего тешил себя мыслью, что благодаря моим усилиям сохраняется ячейка общества. Беда в том, что заморозки начались слишком рано. Не утративший деликатности в лесной глуши, он позвонил за день до приезда. Лавочка прикрылась до следующей весны: при муже праведная Марго не блудила.

Что касается внезапного Таниного гриппа, то моя милая лошадица могла и наврать. Дрессирует она меня, как своих четвероногих друзей. А что если нагряться с проверкой? Наказать злостную симулянтку? Но нет: голос в трубке был действительно хворый. Я предложил заехать просто так – поухаживать за болящей, но она отказалась: боится заразить. Ну и ладно.

Голос Анны тоже был как будто больной, с надломом. В несколько приемов, переводя дыхание, она сказала:

– Вы понимаете... Ты понимаешь... Это случилось... В то самое время, когда мы... В общем, когда мы были в парке.

Наше совместное пребывание на островах она воспринимала как грехопадение. Впрочем, так оно и было. Как это еще назвать, если не любовным свиданием? Я назначил место и время, она пришла – нервно оглядываясь, старомодно теребя перчатки, проглатывая слова от волнения. До этого мы виделись всего раз: собственно, в день знакомства. Там, на перерытом Каменноостровском я не нашел ничего лучше, как использовать трюк из арсенала начинающих пикаперов: изобразил то ли жертву карманника, то ли великовозрастного растеряшку и с мольбой выпросил мобильный – позвонить. Дело жизни и смерти. Дорогие часы, хорошие ботинки – разве можно подумать, что я убегу с ее убогим кнопочным телефоном? Она сунула мне его порывисто – как лекарство умирающему. Я набрал свой номер и тут же сбросил звонок, бросил несколько реплик в пустоту, потом рассыпался в благодарностях, предложил донести сумки. Она протестовала, сказала, что живет совсем рядом, однако я и слушать не захотел: изловчился и выхватил из ее тонких рук довольно тяжелую овощную поклажу, довёл до парадной (лифт, к счастью, не работал) допер сумки до пятого этажа, до ее – тогда еще *его* квартиры. В глазах ее была мука, эти испуганные глаза умоляли: «Отпустите меня!» Отпустить? Ну уж нет! Вечером позвонил. Сказал, что должен ее увидеть. Только увидеть, ничего более. На заднем плане крупнокалиберно загрохотал чей-то кашель, и она бросила трубку. Я звонил ей каждый вечер на протяжении двух недель. С каждым разом наши беседы становились все продолжительнее и все откровеннее. Она уже ждала моих звонков. Я уже был нужен ей. Наконец, она решилась.

На Елагином я читал ей стихи, я кормил белок с руки, я бросал сдобу ленивым, пресыщенным кряквом. Постепенно мы перешли на Крестовский, потом очутились на Каменном. Я показывал ей свои любимые особняки: гниющую дачу Гаусвальд, сахарноголовый дом Фолленвейдера. Там я рассчитывал как минимум на поцелуй. Но под занавес она лишь позволила поддержать себя за локоть. Прощаясь, нетерпеливо высвободила из моих пальцев сухую холодную ладонь.

Чем она меня зацепила? Совершенно не мой тип женщины. Никогда не любил «волос шотландских этих желтизну». Я предпочитаю брюнетистых, темпераментных, с подкожным жирком. Рыжая Марго не в счет – ее формы искупили бы любой изъян, даже полное отсутствие волос на голове.

Новизна – магнит весьма мощный, но не в одной новизне дело. А в чем же? В неприступности? В столь растрогавшей меня смешной преданности старому нелюбимому мужу? В моем стремлении разрушить эту спасительную для нее иллюзию? В азарте игрока, никогда меня не покидающем?

Я мгновенно отыскал ее слабое место. Одинокую женщину видно сразу. Будучи замужем, за живым тогда еще ревнивцем, она была запредельно одинока. Что оставалось ей в

удел? Мечты о невозможном, женские романы, синематограф – единственное женское утешение? Ей нужен был любовник, желательнее такой, как я.

А что если все дело в жалости? Что если мне просто стало жаль ее загубленной, в сущности, жизни, захотелось дать ей то, чего она была лишена? Разве я не способен на милосердие?

Другие сыпались быстро. Я настолько привык к этому, что, как говорит Марго, распаскудился. В своем деле я достиг легкости прямо-таки необыкновенной. Помню, когда на меня из леса на огромном гнедом чудовище выскочила похожая на пингвина в своем жокейском костюме Таня, я отреагировал мгновенно: простер к ней руку и, покрывая голосом конское ржание, продекламировал хрестоматийный кусочек про гордого коня и его копыта. В роли оседланного жеребца я оказался уже вечером. Что и говорить, наездница она первоклассная. А вот простая, как две копейки, Марго сдалась после присланного ей на телефон «Я вас люблю, хоть я бешусь» – решила поди, что это я сочинил. Кто сказал, что поэзия себя изжила?

Анна тоже любит стишки, держась стандартного дамского набора: Ахматова, Цветаева, Ахмадулина. За пределы этого треугольника, если не считать Блока, не двинулась, зато многое знала наизусть. «Сжала руки под темной вуалью» – разумеется. Вуалька – именно темная – была на ней в день нашей прогулки по островам. Я чуть не расхохотался при виде этого чуда, постепенно явленного мне медлительным эскалатором на станции «Старая деревня». Родом из какой театральной костюмерной была эта шляпка, нахлобученная на латунную проволоку ее волос? Впрочем, не в старомодности дело: она просто маскировалась. Страх разоблачения пересилил сопротивление вкуса и здравого смысла.

«Теперь можно у нее...» – думал я, спустя несколько часов сжимая ускользающую ладонь на той же станции метро. Эта мысль была совершенно несвоевременной, эта мысль так далеко забегала вперед, как будто до этого мы, как неприкаемые любовники, испили горькую чашу многолетней бесприютности. Между тем в моем активе было только рукопожатие и удовлетворенная после некоторых колебаний просьба перейти на ты. Она меня боялась. Вернее, она боялась превратиться в грешницу, и черт побери, мне это нравилось.

Когда она вернется домой, ее кнопочный телефон тревожно запиликает. Звонок будет из больницы: ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую, медики на месте констатировали смерть.

Как-то неловко в этом признаваться, но мне почему-то хочется думать, что косая настигла его не где-нибудь, а именно на островах – с постыдным удовольствием я представляю, как, неуклюже перебегая от дерева к дереву, преодолевая отдышку, он следовал за нами – страшный, жалкий, полный горечи и мыслей о мести. Сильные эмоции – вот что нас губит.

Я придумал, как убить вечер. Но через полчаса уже звонил в ее дверь. Лет тридцать назад эта дебилая, жалкая, обтрепанная дверь была визитной карточкой довольства и всяческого преуспевания. Бьющая наотмашь советская роскошь: выпирающими тугими округлостями соблазняла неискушенный взгляд лоснящаяся кожаная обивка, золотой глазок придиричиво вглядывался: что за гость, достоин ли топтаться на лестничной площадке в ожидании, когда зазвенит дверная цепочка? Теперь, когда я жал на оплавленную хулиганской спичкой кнопку звонка, хозяин лежал в морозильнике, как какая-нибудь треска. Сама мысль об этом должна была надолго охладить мой пыл, но я смертельно (вот ведь каламбур!) хотел ее увидеть. В конце концов, по-человечески, надо было просто побыть с ней. Посидеть, поддержать ее узкую нервную руку. Помолчать и уйти...

А что если она не одна? А с какой-нибудь плакальщицей из подруг или мужних родственниц? Подруг у нее не было, к ним давно никто не ходил. И все-таки... Тысяча причин была не ехать туда. Но похоть просыпается в самый неудобный момент. Ах, какое мерзкое все-таки слово! И все похожие слова – перхоть, пихать, опухать – мерзкие. Скорее, скорее подобрать синоним, достойный моей прекрасной дамы! Пусть будет – вождение. О, вот что

сильнее всего! Вот что все побеждает: представления о порядочности, стремление к покою, телесную брезгливость, страх разоблачения. Вот что ничего не боится: ни утреннего запашка изо рта, ни чугунного чувства вины, когда, опустошенный, возвращаешься домой, к семейному очагу. Вождление долго терпит, долго ищет своего, все покрывает и все переносит. Оно никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится...

Однако разве одно только вождление вело меня к ней? Тут все-таки нечто большее... Но чу! За дверью заскрипел рассохшийся паркет, послышался знакомый перезвон – то волшебными колокольчиками звучали дурацкие, совершенно ей не идущие, когда-то очень давно подаренные им серебряные серьги-бубенчики, которые она никогда не снимала. На секунду все стихло: она прильнула к глазку. Я различил сдавленный, придушенный вскрик. Возня с цепочкой продолжалась целую вечность. Она предстала передо мной во всем великолепии домашнего траура: старое тёмно-синее, почти черное платье, в котором, наверное, когда-то ходила с мужем в Мариинку, сочеталось с черной, похожей на хиджаб косынкой и черными же стоптанными босоножками. В ее водянистых, болотного цвета глазах кругами расходились удивление, страх и досада. Она косилась на соседнюю дверь, тоже снабженную глазком. Нормальное чувство вины перед покойником и стеснения – перед живыми. И все-таки было видно: что-то, сидевшее глубоко в ней, неведомое ей самой, ликовало при моем появлении. Сама она не подозревала об этом, вполне искренно сердясь на меня.

– Вы... Ты... Зачем? – сжимая горло, выдавила она.

– Аня... Позволь выразить соболезнования... И немного побыть рядом с тобой в эти трудные для тебя минуты.

Ничего более нелепого придумать было невозможно.

Я вошел, вдохнув сухой запах подступающей старости. Разумеется, они давно не были мужем и женой. Их брак обветшал, как эта квартира, давно забывшая, что такое ремонт. Тем меньше должно быть чувство ее вины, думал я, стягивая плащ. Собственное лицо в овале пыльного, почему-то не завешенного зеркала показалось мне старинным портретом. «Портрет неизвестного», – сострил я про себя, и скорбная физиономия в узорчатой раме чуть было не растянулась в улыбку.

Как будто почувствовав это, она резко развернулась и пошла прочь по сумрачному коридору. Паркет под ее ногами скрипел пронзительно и нервно. Это был не пол, а музыкальный инструмент: каждая паркетина-клавиша издавала свой особый, уникально-противный звук. Между тем надо было запереть дверь, но мудреный замок не поддавался, и я вскоре бросил возиться.

Я огляделся. Обои в прихожей местами отклеились, образовав под потолком свиные уши. Длинный узковатый коридор когда-то был увешан картинами, от былого великолепия остались торчащие гвозди и немного уцелевшее: пыльный пейзаж в духе раннего Ларионова, андеграундный натюрморт с металлической селедкой и пачкой «Беломора» на клочке газеты «Труд», гротескная женская фигура а la Тышлер и небольшой мужской портрет. В советские времена покойник-муж, снабженец, коллекционировал живопись, покровительствовал непризнанным и гонимым. У него был некоторый вкус, а может, просто коммерческое чутье. В домашнем собрании имелись Арефьев, Шагин, Траугот и прочие нищенствующие живописцы. Большая часть коллекции давно распродана, осталось только самое ценное – «не в материальном, разумеется, смысле».

Надо все-таки отдать ему должное. Благодаря его влиянию она многого понахваталась, пристрастилась к чтению, полюбила оперу. Но – бытовая неряшливость, помноженная на многолетнюю бедность, способна была даже меня вогнать в уныние. «Никогда бы не женился», – с этой мыслью я вошел в кухню.

Анна стояла ко мне спиной, смотрела в окно. Несмотря на сумерки, внизу еще копошились оранжевые человечки, экскаватор яростно орудовал железной лапой. Он нагреб под собой целый курган и стоял на его вершине царем горы. Рядом, на месте тротуара чернела

огромная воронка, обрамленная рубиновым ожерельем из красных фонарей, развешенных на хлипком ограждении.

– Всю улицу перекопали, ни пройти ни проехать, – с раздражением сказала она. Раздражение, конечно, адресовалось не дорожникам, а мне.

Потом она варила кофе, ежилась, как от холода, и терпеливо ждала, когда я уйду. Мы долго сидели молча. Время от времени я задавал вопросы, она коротко отвечала и снова погружалась в скорбные раздумья, отчего над переносицей у нее возникала отчетливая вертикальная канавка. Эта сосредоточенная печаль была ей к лицу. Я, не стесняясь, разглядывал ее. Какая она? Красивая? Пожалуй. Особенно судя по фотографиям (после кофе я попросил показать семейный альбом, она принесла потрепанную пачку добрых снимков). Время, конечно, поработало, но как-то избирательно, многое оставив нетронутым: высокую, почти девичью грудь, крепкий подтянутый зад, стройные длинные ноги. И никаких операций, да и где на них деньги? Но сколько раздражающих мелочей... Пробивающаяся местами седина, дрябловатая шея. Выпирающие косточки на ступнях – от узкой обуви. Что ж, вождение все терпит, все прощает, все преображает. Этот голодный зверь жадно съедает всё, и все пальчики облизывает, и все косточки.

Он ее любил – во всяком случае вначале. Она его, наверное, никогда. Но есть разница между «не любила» и «не любила». Равнодушие или ненависть – что хуже? Она не хотела о нем рассказывать. Я пытался представить себе этого покровителя искусств – еще не старого, хваткого, окруженного прихлебателями из богемы. Тот баловень судьбы, властелин дефицита давно умер. Его настоящая, не призрачная жизнь закончилась с крушением плановой экономики, в которой обязательно чего-нибудь не хватало. Многие его коллеги сумели приспособиться к новой реальности и даже преуспеть, а он почему-то не смог. Гуманитарные ли интересы помешали ему перестроиться, элементарное ли отсутствие гибкости, но вчерашний делец превратился в полубольного, ненужного, преждевременно состарившегося пенсионера. Чем он был перед столь милосердной в своей внезапности смертью? Ничем и никем. Только я мог внести в его дотлевающую жизнь новый смысл. Не умри он так скоропалительно, на его долю выпала бы роль абстрактного препятствия, вечной причины нашего с Анной скитальчества. Благодаря мне он бы перестал быть пустым местом, обретя значительность героя любовной драмы. Его рогатая тень следовала бы за нами повсюду. Не будь я стопроцентным материалистом, я бы, наверное, почувствовал присутствие этой минотавровой тени и сейчас, сидя на его теперь уже бывшей кухне с его теперь уже бывшей женой.

Мало-помалу я разговорил ее. Когда выходила замуж, была совсем еще девочкой: мать подталкивала в спину, и это можно понять, по тем временам жирнющий был гусь: «Волга», дача в Солнечном, отдельная квартира в хорошем месте. Он ради нее ушел от жены, оставил сына... Сын потом спился и умер относительно молодым. За все в жизни приходится платить.

Надо было о чем-то беседовать. Я вспомнил остатки картинной галереи в коридоре. Меня забавлял мужской портрет: масло, холст, вольный или невольный закос под Ван Гога. Казалось, еще немного, и художник прилепил бы к уху своей модели белое пятно – марлевый томпон. Впрочем, изображенному субъекту следовало бы отрезать не ухо, а нос – большой, составляющий едва ли не четверть лица. Можно было убрать все остальное, а нос оставить: он выглядел бы вполне самодостаточно, как какой-нибудь сезанновский фрукт. Я было поинтересовался, чья голова послужила моделью, но в прихожей задребезжал телефон.

Пока кто-то долго выражал соболезнования, я прогулялся по квартире, заглянул в комнаты. Жилище большое, барское, но до чего неуютное! Столпотворение ненужных, давно отживших свой век вещей, брежневская исцарапанная мебель, деревянные оконные рамы с типографскими следами от газетных полос. Какая архаика! И всё это теперь – ее? Нет ли родственников, могущих претендовать? Нет, кажется, никого. Разве что его брат в Мариуполе. Но связь с ним давно потеряна.

Она вернулась, села. В течение последующих минут десяти мы, как грызуны, сосредоточенно точили сухари. Рассчитывать на что-либо большее, чем чай из пакетика, было

бы верхом самонадеянности. «Еще немного посидеть и уйти. Дальнейшее – после похорон», – распорядился внутренний голос. На прощание я выдал возвышенную тираду:

– Анна, дорогая моя Анна... Я понимаю, как несвоевременен мой визит. Но я не мог не прийти. Потому что люблю тебя. Прощай!

Я поднялся со стула, скрипнувшего при этом так тонко и беспомощно, что пронзенный жалостью ко всему этому ветхому, жалкому миру, к этим застиранным шторам и усталой мебели я застыл на месте. Она не изменилась в лице, только вертикальная канавка на лбу стала еще глубже. Но вдруг (оркестр, тушь!) совершенно изменившийся взгляд, в расширенных потемневших зрачках – не безумие, но боль, отчаяние, надежда. Ее рука намертво вцепилась в мою. Она резко встала, уронив стул. Секунда – и я уже сжимал ее дрожащее под платьем тело. Кажется, я был совершенно не готов к такому повороту. Что? Прямо сейчас? Здесь? Нет, нет, туда, туда... Мстительные огоньки в глазах вспыхнули при слове «спальня». Целая жизнь, быть может, полная унижений, подавленных желаний, грошовых грез пролетела передо мной и упала синим бархатом на скрипучий разошедшийся паркет. Следом дрызнули вырванные чуть ли не с мясом серьги-бубенчики. Последней была сорвана черная косынка, из-под которой на простыню высыпалось блеклая канитель ее волос.

По стенам и потолку проплывали световые прямоугольники от автомобильных фар. Я старался не торопиться. Но старания эти были напрасны. Она закусила губу и захныкала, как ребенок, всеми четырьмя конечностями с силой прижимая меня к себе, будто боясь, что я исчезну. Старая кровать, давно забывшая о подобных нагрузках, отчаянно кряхтела. Казалось, скрипел, раскачиваясь, весь дом, населенный призраками. Еще немного, еще немного...

Постанывая, она зачем-то приподнялась на локтях и вдруг закричала так, как будто между ног у нее ходила зубастая ножовка. Потом так же резко умолкла и рухнула на подушку. «Такое бывает. От этого не умирают», – думал я, если вообще был способен думать в эти секунды.

...Я почувствовал его за мгновение до... Как там у Пушкина? До мига последних содроганий. Голой спиной я ощутил: кто-то стоял в дверях и смотрел на нас. Уши, пропустившие мимо музыкальный скрип паркета в коридоре, теперь уловили звук, похожий на бляение. В комнате повеяло холодком – это, наверное, дуло в открытую дверь с лестницы. Требовалось всего-то лишь оглянуться, но разве под силу самоубийце-гребцу, лодка которого уже приблизилась к самому краю Ниагарского водопада, повернуть вспять...

Боже, неужели без употребления медицинских терминов об этом невозможно писать, не впадая в подобную пошлость?!

Словом, я чувствовал, что сзади кто-то стоит, но инстинкт самосохранения оказался куда слабее другого – вот уж, действительно, основного – инстинкта! Говорят, двух совокупающихся лягушек невозможно разделить – даже если причинить им боль, даже если отрезать лапку самцу, смертельный спазм объятий будет продолжаться. Я с лягушачьей цепкостью прижимал к себе ее тело. Сжавшийся до размеров грецкого ореха мозг в эти секунды, однако, пытался работать, перебирая возможные варианты: незакрытая входная дверь, соседка заглянула – звала, но мы не слышали... Или соседский ребенок... Смешно, стыдно, но не так уж и плохо. Плохо, если вор, уголовник. Вот он, ухмыляясь, вертит в руках заточку или греет в кармане рукоятку пистолета...

Я обернулся не сразу. Не сразу после того, как взорвавшись внутри безответного Аниного тела, сделал жадный глоток воздуха, возвращаясь на поверхность сознания. Лишь отдышавшись, я приподнялся на руках и повернул голову, все еще сохраняя надежду, что был обманут шевелящимся где-то в спинном мозгу шестым чувством.

Наверное, я бы вскрикнул, если бы у меня были силы на крик. На меня смотрели глубоко посаженные печальные черные глаза, под которыми висели фиолетовые мешочки и размещался большой пористый нос, нависавший над скорбно сомкнутыми толстыми губами. На вид ему

было под шестьдесят, он был серебристо небрит, давно не стриженные волосы его были беспорядочно разбросаны по крупной голове. На узких плечах топорщилось старое черное пальто со следами подпираания меловой стены на правом рукаве. Бродяга, бомж, лестничный алкаш, пожалуй, мог выглядеть так – с поправкой на биографию опустившегося с неких высот обывателя. Не узнав собственного голоса, я задал, наверное, единственно уместный в этой ситуации вопрос:

– Ты кто?

Ответа не последовало. Пожевав губами, незванный гость снова издал странный, блеющий звук – то ли сдавленный стон, то ли застрявшее и скомканное в горле слово, медленно развернулся и, пошатываясь, вышел. Многоголосо запел паркет в коридоре, громыхнула входная дверь.

Анна по-прежнему была без сознания. Я прислушался к ее дыханию, припал к груди, схватил запястье – но и в ушах, и в утративших чуткость пальцах моих билась моя собственная закипающая кровь. Спокойствие! Множество подобных случаев описано в литературе. Оргазм, похожий на смерть. Я отхлестал ее по щекам – безрезультатно. Звонить в скорую? Глупо... Приедут, будут задавать вопросы – когда она уже очнется.

И тут только я понял, что уже видел это лицо. Соорудив набедренную повязку из ее платья, я бросился в коридор, поднес смартфон к холсту. Глаза только что ретировавшегося визитера так же печально, как только что в обрамлении дверного косяка, смотрели на меня из рамы – с писанного пламенеющим вангоговским мазком носатого портрета. При всех издержках манеры письма сходство было бесспорным.

Вернувшись в спальню, я сел на кровать и захохотал. Что это было? Кто это был? Отец ее, брат? Нет у нее ни отца, ни брата. Друг семьи? Художник? Собрат-коллекционер? Я смеялся, шлепая себя по голым ляжкам.

Итак, внезапный наш визитер мог приходиться покойнику близким родственником. Братец из Мариуполя? Кто-то сообщил о прискорбном событии, вот он и прилетел. Теоретически такое возможно. А что если? О Боже... А что если – сам? Полежал в морге, встал и пошел? Такое бывает. Внезапно оживший мертвец не такая уж редкость. Ошибка медиков, мнимая смерть, летаргический сон. Вспомнилась рассказанная Марго история, как умершая пенсионерка заявила к дочери накануне собственных похорон – в саване и с венчиком на лбу: очнулась в морге, санитары спали пьяные, дверь была не заперта.

И что теперь? Ничего.

Более всего поразило его спокойствие. Он стоял и смотрел. По-идиотски невозмутимо. Если это был он, мнимый покойник, то это спокойствие можно понять: чем можно удивить Лазаря после смерти и воскрешения?

– Анна! Анна!

Ее обморок был слишком похож на смерть. Я снова надавал ей лещей, и снова – без успеха. Она была неподвижна. Ее голова покоилась на подушке в золотом нимбе волос. Я натянул штаны, набросил плащ поверх голого тела и бросился на лестницу. Его еще можно было догнать.

Вечер брызнул в глаза неоновым реклам, отравил дымом, оглушил рокотом экскаватора. Впереди, как драконьи глаза, горели красные сигнальные фонари. За ними маячила его черная спина, зловещие красные отблески окрасили его неопрятную седину. Выскочивший как черт из табакерки рабочий-азиат что-то кричал мне, указывая пальцем куда-то вниз, к центру Земли. И тут визитер остановился: теперь была его очередь чувствовать спиной.

Но когда он обернулся, меня уже не было. Я ничком лежал на дне глубочайшей ямы среди обрезков труб и асфальтовой трухи. Последнее, что я видел перед тем, как потерять сознание от боли, были склонившиеся надо мной круглые, прокопченные азиатские головы. И – первые звезды, такие далекие и безразличные.